

A young woman with long blonde hair in two braids is the central figure. She wears a dark blue or black medieval-style dress with a white ruffled collar and brown lace-up detailing. A necklace with a sun-shaped pendant hangs around her neck. She is wearing a brown leather belt with a large circular buckle. In the background, several men in medieval armor and helmets are visible, slightly out of focus. The scene is set outdoors in a sunlit area.

Патрушев Сергей

Кто Я

Сергей Патрушев

Кто Я

<https://litres.ru/74501627>

SelfPub; 2026

Аннотация

История Дарьи Воронцовой — это путь от золотой клетки аристократии к абсолютной свободе через грязь, кровь и пепел. Сбежав от деспота-отца и навязанного брака, она проходит крещение трущобами, становится вольным помощником полиции, изучает магию земли у лесной ведьмы и алхимию власти при дворе шута.

Война лишает её иллюзий, предательство выбивает почву из-под ног, а жизнь в горах стирает социальные маски. Дарья теряет всё: имя, титул, доверие к людям. Но именно на руинах своей личности она обретает истинную силу.

Отказавшись от короны, которую ей предлагает спасённый ею народ, она выбирает путь странствующего наставника.

Это мрачное фэнтези о поиске себя, где главный вопрос не «Кто я?», а «Кем я готова стать сегодня, чтобы выжить завтра».

Содержание

Глава 1. Золотая клетка	4
Глава 2. Пыль под ногами	25
Глава 3. Хлеб и соль	41
Глава 4. Меч и честь	57
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Сергей Патрушев

Кто Я

Глава 1. Золотая клетка

Снег за высокими, в два человеческих роста, окнами балльного зала усадьбы Воронцовых падал неестественно ровно. Он не кружился под порывами ветра, не сбивался в сугробы у резных перил крыльца — он просто опускался вниз тяжелыми, плотными хлопьями, словно кто-то наверху методично вытряхивал пуховые подушки из бездонного небесного чулана. Внутри же, за двойными рамами и толстым слоем бархатных портьер цвета запекшейся крови, царила вечная, искусственная весна.

Воздух дрожал от тепла сотен восковых свечей, плавящихся в массивных бронзовых люстрах, и был густо пропитан ароматами французского парфюма, розового масла, которым слуги натирали паркет до зеркального блеска, и сладковатого запаха тлена, исходящего от срезанных накануне голландских тюльпанов. Тюльпаны уже начали увядать: их лепестки по краям покрылись бурой каймой, но никто во всем зале этого не замечал. Слишком много сусального золота слепило глаза.

Дарья стояла у мраморной колонны, оплетенной позоло-

ченным плющом, и чувствовала себя деталью интерьера, такой же мертвой и покрытой лаком, как этот искусственный плющ. На ней было платье из лионского шелка оттенка первого снега — ослепительно белое, расшитое мелким речным жемчугом вдоль корсажа и спускающееся к полу тяжелым, неподъемным шлейфом. Корсаж туго стягивал ребра, заставляя держать спину неестественно прямо. Каждый раз, когда она делала вдох, костяные пластины китового уса впились в тело, напоминая о границах ее свободы. Границы эти были очерчены золотом.

Вокруг нее текла река жизни, которую принято называть высшим светом Петербурга. Мужчины в безупречных фраках с атласными лацканами двигались плавно, как сытые хищники. Их разговоры звучали мерным гулом прибоя, где каждая волна была пошлостью, завернутой в дорогой шелк слов. — Графиня Н., слышали? Третьего дня проиграла в штос родовое имение под Калугой... — Ах, mon cher, зато какой фарфор! Говорят, сервиз заказывали еще при Елизавете... — А князь Т. совсем плох. Подагра-с. Но борзых щенков прислал отменных, я взял парочку для своей псарни...

Дамы, похожие на экзотических птиц, случайно залетевших в русскую зиму, трепетали веерами из страусиных перьев. Их смех звенел фальшиво, рассыпаясь мелкими льдинками. Они обсуждали фасоны платьев из Парижа, которые придут только через месяц на клипере, интриги английско-

го посланника, который строил глазки жене министра финансов, и несварение желудка старой княгини Оболенской. Дарье казалось, что если прислушаться внимательнее, то за этим человеческим щебетом можно различить сухой треск трущихся друг о друга костей скелета — истинного хозяина этого дома.

Она поймала свое отражение в огромном венецианском зеркале между двумя канделябрами. Из тяжелой рамы на нее смотрела бледная, почти прозрачная девушка с высокой прической, украшенной ниткой крупного бриллианта чистой воды. Бриллианты холодили затылок. Глаза на этом отражении казались слишком темными и большими для такого тонкого лица, а губы, тронутые лишь каплей пчелиного воска, были плотно сжаты. Она выглядела именно так, как должна выглядеть единственная дочь графа Сергея Андреевича Воронцова: отстраненно, дорого и совершенно недоступно. Кукла, выставленная на аукцион тщеславия, где главным лотом была не красота, а чистота породы и размер земельных наделов, прилагавшихся к невесте.

К ней подплыл отец. Сергей Андреевич, облаченный в черный фрак, сам казался выточенным из мореного дуба — монументальный, седовласый, пахнувший табаком «Гавана» и властью. Его лицо состояло из прямых углов и глубоких складок, в которых, казалось, навсегда застыл петербургский туман. — Держи подбородок выше, душа моя, — его голос прозвучал тихо, но перекрыл шум ближайшего кружка

сплетников. — Князь Мещерский смотрит в нашу сторону. У него три сахарных завода и страсть к породистым лошадям. Весьма выгодная партия. — Я не лошадь, чтобы меня сватать, па, — ответила Дарья, не поворачивая головы. Ее взгляд был прикован к танцующим. Граф едва заметно поморщился, отчего его левое веко дернулось — старая контузия давала о себе знать после бессонных ночей в Департаменте. — Не смей говорить со мной языком курсисток-нигилисток, — процедил он сквозь зубы, предназначенные для разгрызания грецких орехов. — Ты — мой единственный наследник. Вернее, наследница. Титул перейдет мужу. Имение требует мужской руки. Или ты намерена сама считать копны сена и судиться с мужиками из-за недоимок? — Я могла бы управлять имениями не хуже мужчины, — возразила она, наконец повернувшись. Свет канделябров упал на ее бриллиантовую диадему, пустив злого солнечного зайчика прямо в глаз стоявшему рядом камергеру. — Управлять — удел приказчиков, Даша, — отрезал граф. — Твое дело — быть знаменем. Лицом рода. Чтобы ни один купчик-выскачка из Твери не смел смотреть на тебя иначе как снизу вверх. Мысли оставь мужчинам. У тебя есть долг перед предками. Перед дедом, который выбился в люди при Николае Павловиче. Перед прадедом, чьи кости гниют под Бородино. Этот бал стоит больше, чем годовое жалование уездного учителя. Помни об этом.

Он коротко кивнул, принимая подобострастный поклон

какого-то гвардейского поручика, и растворился в толпе, направившись к группе генералов, окруживших вдовствующую императрицу-мать. Дарья осталась одна. Слова отца оседали на душе тяжелой каменной пылью. Долг. Порода. Лицо рода. Ей двадцать лет, но вся ее жизнь была расписана по часам еще до ее рождения. Утренний туалет, уроки французского с мадам Жири, верховая езда в закрытом манеже, вышивание бисером гербов, чтение одобренной литературы, визиты вежливости, балы. Замужество. Рождение сыновей для продолжения фамилии. Смерть.

Неужели это все? Неужели эта тугая шнуровка, этот холодный камень на пальце (отцовский подарок «на помолвку», хотя жениха еще не выбрали) и этот титул — графиня Воронцова — и есть ее суть?

Она сделала глоток из бокала, который держала в руке. Шампанское оказалось безвкусным, кислым. Оно лишь обожгло горло. Дарья обвела взглядом зал, пытаясь найти хоть одно живое лицо, хоть одну искру подлинного чувства среди этой выставки механических кукол.

Вот престарелый барон фон Штиль целует руку шестнадцатилетней Вареньке Голицыной. Барону нужны связи тестя-генерала, Вареньке — статус замужней дамы, чтобы открыто принимать любовника-поэта. Между ними нет ничего, кроме взаимной выгоды, упакованной в ритуал галантности. Это не поцелуй руки, это подписание векселя.

В центре зала вальсировали молодые. Кавалеры уверен-

но вели своих дам в такт оглушительной мазурке, исполняемой полковой музыкой. Лица кавалеров выражали либо скуку, либо плохо скрываемое вожделение. Лица дам — усердие. Они считали шаги, следили за веером, контролировали поворот плеча, чтобы показать бриллиантовую брошь в самом выгодном свете. Никто не улыбался глазами. Танец был геометрией, набором правильных фигур, исключаящим случайность соприкосновения душ. Если партнер наступал на ногу, он мысленно проклинал свою неловкость, боясь испортить новые туфли или вызвать неодобрение света, но никогда не испытывал искреннего смущения.

У дальнего окна, там, где тени от тяжелых штор ложились на стену причудливыми арабесками, стоял молодой человек. Дарья заметила его краем глаза минуту назад, но мозг отказывался признавать его присутствие, настолько он выпадал из общей картины. Он был одет безупречно — темно-синий сюртук сидел на нем как вторая кожа, — но ворот рубашки был расстегнут на две пуговицы, что считалось вопиющей небрежностью. Он не танцевал. Он даже не смотрел на танцующих. Его взгляд был устремлен куда-то поверх голов, сквозь лепнину потолка, в невидимую точку пространства.

В его профиле было нечто неправильное, острое. Нос с легкой горбинкой, слишком резко очерченная линия челюсти, будто его вырезали из камня неумелым, но страстным резцом. Он не пил шампанское, не перебрасывался шутками со знакомыми. Казалось, воздух вокруг него имеет другую

плотность — более густой, тяжелый, настоящий. Время от времени его пальцы правой руки совершали странное движение, словно он хотел что-то написать в воздухе или раздавить невидимое насекомое.

Дарья почувствовала, как ледяной озноб пробежал по позвоночнику, минуя горячие объятия корсета. Впервые за весь вечер ей стало физически страшно. Страх пришел не извне. Он родился внутри, в той точке груди, где сходятся ключицы. Осознание ударило ее с силой упавшей люстры.

Все они — включая ее саму — мертвы.

Они умерли давно, возможно, еще в колыбели, когда акушерка впервые перевязывала их запястья синими или розовыми лентами согласно сословию. То, что сейчас дышало, смеялось и перемывало кости князю Т., было лишь сложным химическим процессом распада. Золото разъедало их изнутри быстрее, чем ржавчина ест железо. Богатство было их саваном, титулы — эпитафиями, высеченными на надгробиях из каррарского мрамора. Они покупали французские вина, чтобы залить вкус пепла во рту. Заказывали портреты Брюллова, чтобы запечатлеть свои посмертные маски в цвете живых людей. Заключали брачные союзы, чтобы их могилы находились рядом на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Ее собственная белоснежная кожа, которой так восхищались компаньонки, говоря «чистый фарфор», была кожей статуи. Ее изящные манеры, за которые гувернантка ставила

«прелестно», были затверженными движениями покойницы, играющей в жизнь. Она посмотрела на свои руки, затянутые в длинные лайковые перчатки цвета слоновой кости. Пальцы чуть заметно дрожали. Под тканью, скрытая от чужих глаз, лежала настоящая, теплая, пульсирующая плоть. Единственная живая вещь во всей этой золотой клетке.

Она вдруг поняла, что задыхается. Не от тесного корсета — к нему она привыкла с пятнадцати лет. Она задыхалась от отсутствия смысла. От вакуума, который заполняли звуки оркестра и запах увядающих тюльпанов. Ей захотелось сорвать с шеи ожерелье стоимостью в деревню вместе с крепостными, разорвать на груди шелк, выйти в центр зала, встать посреди вращающихся пар и закричать. Закричать так, чтобы лопнули хрустальные подвески на люстрах. Закричать о том, что король голый, что золото — это просто желтый металл, а их души съела плесень праздности.

Но вместо крика она лишь крепче сжала ножку бокала. Стекло тихонько хрустнуло. Тонкая трещина змеей побежала вверх, и по ее белой перчатке потекла струйка холодного, липкого шампанского, мгновенно впитываясь в ткань и становясь темным пятном — единственным темным пятном в ее стерильно-белом образе. Боль от впившегося в ладонь осколка показалась ей очищающей. Настоящей.

Молодой человек у окна внезапно моргнул. Медленно, тяжело, словно просыпаясь от долгого сна. Его пустой взгляд сфокусировался. Он опустил голову и посмотрел прямо на

нее. Сквозь расстояние в сорок шагов, сквозь мельтешение лакеев в пудренных париках, сквозь звон шпор и женский смех.

Их взгляды встретились.

Время споткнулось. Мазурка продолжала греметь, но звук стал ватным, далеким, как сквозь толщу воды. Дарья перестала чувствовать боль в порезанной ладони. Перестала ощущать тяжесть бриллиантов и тугую хватку китового уса. Мир сузился до двух точек: его серых, абсолютно неподвижных глаз и ее расширенных зрачков.

В его взгляде не было мужского интереса. Там не было желания оценить стоимость ее платья или перспективы ее приданого. Там вообще не было эмоций, понятных светскому человеку. Там была бездна. Холодная, бесконечная пустота космоса, в которой гаснут звезды. Взгляд человека, который заглянул за край собственной жизни и обнаружил там не Бога и не ад, а лишь равнодушную математическую формулу.

И в этой формуле Дарья Воронцова, с ее титулом, землями и идеальной родословной, значилась нулем. Пустым местом. Иллюзией.

Он медленно, очень медленно поднял правую руку. Не в приветствии. Он приложил указательный палец вертикально к губам, призывая к тишине. Хотя вокруг и так стоял шум, этот жест парализовал ее волю сильнее любого приказа. Затем его губы дрогнули, складываясь не в улыбку, а в гримасу невыразимой скорби и понимания. Он знал. Он видел каж-

дую золотую чешуйку на ее панцире и понимал, что под ней скрывается нагое, испуганное мясо, отчаянно пытающееся доказать, что оно еще живо.

«Кто ты?» — беззвучно прошевелила она губами, чувствуя, как по спине течет холодный пот.

Он едва заметно покачал головой. Нет. Не сейчас. Его рука опустилась. Он сделал крошечный шаг назад, отступая в спасительную темноту оконной ниши, сливаясь с тенями бархатных драпировок. Еще мгновение — и его силуэт исчез, растворился в полумраке, словно его и не было. Словно он был лишь оптической иллюзией, миражом, рожденным испарениями свечного жира.

Дарья судорожно выдохнула. Сердце билось где-то в горле, отдаваясь пульсом в висках. Она посмотрела на свою руку. Кровь смешалась с шампанским, образовав на белом шелке грязно-розовый цветок. Больно не было. Было стыдно. До слез, до жжения в глазах стыдно не за разбитый бокал и испорченную перчатку. Ей было невыносимо стыдно за то, что секунду назад она готова была продать половину отцовских заводов и заложить душу дьяволу только за то, чтобы этот странный незнакомец подошел к ней и сказал хоть слово. Потому что в его молчании было больше жизни, чем во всех криках этого зала.

— Mademoiselle Vorontsova? Вам дурно? Вы побледнели.

Перед ней возник сияющий, идеально выбритый ротмистр Преображенского полка. Его нафабранные усы топор-

щились, как у кота, укравшего сметану. Он протягивал ей надушенный платок. — Позвольте вашу ручку. Вы пролили вино. Это ужасная примета, говорят, к слезам, но мы можем исправить это танцем. Первая кадрили за вами, я записал нас еще час назад.

Его слова были правильной вязью, его намерения — предсказуемыми, его будущее — ясным: чин полковника, выгодная женитьба, домик в Крыму, апоплексический удар в пятьдесят лет. Идеальная биография для идеального механизма.

Дарья посмотрела на протянутый ею платок. На свой окровавленный палец. На лоснящееся от благополучия лицо ротмистра. И впервые в жизни осознала чудовищную, пьянящую свободу выбора. Свободу сказать «нет».

Она аккуратно положила разбитый бокал на поднос проходящего мимо ливрейного лакея. Лакей вздрогнул, но удержал равновесие, поклонился и поспешил прочь, пряча удивление.

— Благодарю вас, Алексей Петрович, — произнесла Дарья своим обычным, ровным голосом, от которого у матери обычно теплело на сердце — таким послушным он казался. — Но я вынуждена отказаться. У меня невыносимо болит голова. Кажется, я переоценила стойкость местного климата.

Она не стала ждать его ответа. Не стала делать книксен. Развернувшись на каблуках так резко, что шлейф платья опасно занесло вбок, она пошла сквозь толпу. Прямо, не соблюдая этикет обхода, разрезая волны гостей, как нос бро-

неносца режет невскую волну.

Музыка мазурки достигла своего крещендо. Пары замерли в финальной фигуре. Зал содрогнулся от аплодисментов. Кто-то восторженно ахнул, глядя на потолок. Дарья не обернулась. Она шла к выходу из зала, туда, где начиналась анфилада темных, пустынных комнат, ведущих в зимнюю оранжерею.

Отец заметил ее маневр слишком поздно. Она видела боковым зрением, как он прервал разговор с министром путей сообщения и сделал шаг в ее сторону, его лицо начало наливаться багровой краской. Но Дарья лишь ускорила шаг.

Золотая клетка осталась за спиной. Замок щелкнул не снаружи, где стояли гвардейцы у дверей, а внутри — в тот момент, когда разбился бокал. Она уходила в темноту коридоров, прижимая к груди кровоточащую руку, и единственное, что она знала наверняка — пути назад, в мир смеющихся мертвецов, больше нет. Тот человек у окна открыл дверь. И теперь ей нужно было найти ключ, чтобы запереть ее навсегда или шагнуть в неизвестность. Бал продолжался, золотая пыль кружилась в луче света, но эпоха графини Дарьи Сергеевны Воронцовой в этих стенах закончилась. Оставалось только понять, кем начинается следующая.

Холод каменного пола сменился влажным, тяжелым теплом тропиков, стоило ей миновать тяжелые дубовые двери малой гостиной. Зимняя оранжерея предков встретила

ее запахом мокрой земли, прелой листвы и цветущих орхидей, которые требовали содержания целого штата садовников круглый год. Здесь, под стеклянным куполом, среди фикусов в человеческий рост и банановых деревьев, время текло иначе. Капающая с листьев вода отсчитывала секунды точнее любых напольных часов Павла Буре.

Дарья привалилась спиной к холодной колонне, поддерживающей свод. Пальто подать не успели, и тонкий шелк платья не защищал от ночной прохлады, проникающей сквозь щели в старом стекле. Озноб становился настоящим, физическим. Она разжала кулак. Порез оказался глубже, чем показалось сначала — осколок стекла оставил глубокий, рваный след поперек ладони. Кровь, темная в полумраке, капала на листья папоротника внизу. Огромный лист сердито сомкнулся, приняв алчную жертву.

— Сударыня, негоже стоять на сквозняке. Застудите грудь, лекари нынче дороги, а батюшка ваш счета оплачивать не любит.

Голос раздался откуда-то сверху, из переплетения ветвей старой монстеры. Дарья вскинула голову, инстинктивно пряча раненую руку за спину. На широком деревянном подоконнике второго яруса оранжереи, там, где обычно хранили садовый инвентарь, сидел тот самый незнакомец. Он снял сюртук и остался в одной белоснежной рубашке, закатанные рукава которой открывали сильные, жилистые предплечья. Он подогнул ноги в идеально начищенных сапогах, обхватив

колени руками, и смотрел на нее сверху вниз с видом скупающего демиурга, наблюдающего за муравьем, решившим свернуть с протоптанной тропы.

— Как вы здесь оказались? — голос Дарьи прозвучал хрипло. — Охрана... — Ваша охрана пьет смирновскую водку в караулке и рассуждает о преимуществах нарезных штуцеров перед гладкоствольными ружьями, — лениво перебил он. — Замок на двери оранжереи открывается обыкновенной женской шпилькой. Я проверял. Кстати, ваша прическа скоро развалится. Левый валик ослаб.

Дарья непроизвольно коснулась волос. Шпилька действительно едва держалась. Щеки вспыхнули жаром — не от смущения, а от злости на собственную уязвимость. — Кто вы такой? — спросила она, стараясь вернуть себе утраченное достоинство графской дочери. — Что вам угодно?

Он легко, без видимых усилий спрыгнул с подоконника. Высота была сажени в полторы, но приземлился он абсолютно бесшумно, подняв в воздух лишь облачко сухой земли. Теперь он стоял так близко, что Дарья уловила запах сырой кожи, дешевого едкого мыла и чего-то металлического, похожего на кровь или оружейную смазку. Никакого парфюма. Ни капли мускуса или амбры, которыми привыкли обливать себя гости отца.

— Мне угодно наблюдать крах империй, — ответил он просто. Его серые глаза изучали ее лицо, игнорируя бриллианты и дорогую ткань. — Ваш крах, Дарья Сергеевна, обеща-

ет быть весьма живописным. Вы испортили платье ценой в годовой доход хорошего адвоката ради того, чтобы привлечь мое внимание. Примитивный, но действенный прием. Почти первобытный. — Я его не портила ради вас! — возмутилась она, сжимая здоровую руку в кулак. — Я... я просто... — Просто поняли, что умираете, — закончил он за нее. Он наклонился, бесцеремонно взял ее раненую ладонь своими пальцами — сухими и горячими — и поднес к свету тусклой газовой лампы. — Глубоко. Зашивать надо. Иначе останется шрам, и играть на арфе будет неудобно. Арфа ведь входит в обязательную программу воспитания ангелочков вроде вас?

Его близость лишала мыслей. От него пахло опасностью и правдой. Дарья попыталась вырвать руку, но его хватка оказалась железной. — Пустите. Вы говорите загадками. Это пошло. — Загадки придумывают те, кому нечего сказать, — он отпустил ее руку и выпрямился. — Я говорю прямо. Вы сидите в золотой клетке. Прутья инкрустированы сапфирами, дверца заперта на замок работы Фаберже, но это все равно клетка. А птичка внутри сгнила заживо от тоски. Сегодня ночью трупный запах прорвался наружу. Отсюда и шок окружающих. Отсюда и ваше желание бежать. — Вы сумасшедший, — прошептала Дарья, делая шаг назад. Каблук наткнулся на корень дерева. — Вас выпорют на конюшне за проникновение в дом. Отец вызовет жандармов. — Ваш отец вызывает жандармов только тогда, когда крестьяне отказываются платить оброк сверх меры, — усмехнулся незнако-

мец, обнажая ряд неровных зубов. Улыбка не сделала его лицо добрее, лишь добавила хищности. — Меня нельзя выпороть. И арестовать тоже затруднительно. Видите ли, официально я существую лишь в виде свидетельства о смерти пятилетней давности. Пуля в легкое под Карсом. Хоронили в закрытом гробу. Очень удобно для перемещений.

Он прошелся по оранжерее, касаясь пальцами широких листьев фикуса. Листья сворачивались от его прикосновений, словно от ожога. — Вы спросили, кто я. Можете звать меня Элей. Это удобное имя. Короткое. Не тянет за собой хвост из великих дедов, выигранных сражений и просроченных закладных. — Элей? — переспросила Дарья. Имя звучало чужеродно, как латынь в устах конюха. — Это титул? Фамилия? — Это функция, — он остановился и посмотрел ей прямо в глаза. — Я — корректор реальности. Механик человеческой воли. Когда шестеренки общества стираются и начинают скрипеть, издавая такие вот тошнотворные звуки, — он махнул рукой в сторону залы, откуда доносился приглушенный гул праздника, — прихожу я. Смазываю кровью. Или страхом. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы механизм пошел вразнос.

Дарья слушала его, и безумие происходящего постепенно уступало место чему-то другому. Любопытству. Чистому, лабораторному интересу естествоиспытателя, столкнувшегося с новым видом ядовитой змеи. — Мой взгляд? Вы имеете в виду себя? Вы думаете, что одним взглядом сломали мне

жизнь? — Я ничего не ломал, Дарья Сергеевна. Я лишь нажал на курок вашего собственного разума. Конструкция была готова к выстрелу, боек давно соскочил. Вы годами смотрели на этот балаган и убеждали себя, что так и должно быть. Что рвота от переедания икры — это признак хорошего пищеварения. А сегодня вечером пазл сложился. Вы увидели абсурд. Абсурд всегда выглядит как смерть. Вот вы и истекаете кровью.

Он кивнул на ее ладонь. Кровь продолжала сочиться, пропитывая уже вторую перчатку. — Зачем вы здесь? — повторила она вопрос, но уже без прежнего страха. — Чего вы хотите от меня? Элей вздохнул и провел рукой по лицу, снимая усталость. Впервые за весь разговор он показался ей не всемогущим духом, а просто очень изможденным человеком. — Хочу предложить сделку. Вашу бессмертную, ничем не обремененную, кроме долгов чести, душу — против возможности дышать полной грудью. — Это метафора? — Самый что ни на есть физический факт. Хотите проверить? — он шагнул к ней вплотную. Настолько близко, что Дарья ощутила жар его тела сквозь слои ткани. — Сделайте глубокий вдох. Так, как вы делаете это каждый день. Втяните в себя этот воздух. Воздух вашей клетки.

Она машинально подчинилась. Набрала полную грудь воздуха оранжереи. Запахи влажной земли и гниющих цветов тут же сдавили легкие спазмом. Воздух стал густым, осязаемым, он забивал горло, вызывая приступ кашля. Дарья

схватила за шею, пошатнулась. Ей снова не хватало кислорода, как там, в зале, но теперь причина была иной. Воздух буквально отказывался входить в нее. — Вы чувствуете? — спокойно спросил Элей. — Ваши легкие не принимают эту среду. Организм отторгает симулякр. Вы можете остаться здесь. Сейчас придет дворецкий, доложит отцу. Вас проводят в будуар, дадут нюхательные соли, вызовут доктора Германа. Он промоет рану слабым раствором марганцовки, наложит повязку. Через неделю вы будете танцевать котильон с князем Мещерским. Будете рожать ему детей. Лет через тридцать умрете от инсульта, вызванного очередным проигрышем сына в Английском клубе. И все это время ваши легкие будут вот так же гореть, потому что вы будете дышать смертью. Согласны?

Дарья вцепилась здоровой рукой в колонну, чтобы не упасть. Слезы ярости и отчаяния выступили на глазах. Она ненавидела его в эту секунду. За правду, которая была страшнее любой лжи. — А альтернатива? — выдавила она. — Служить вам? Стать содержанкой? Агентом охраны? Что значит «дышать» в вашем понимании? Элей медленно обошел ее кругом, словно оценивая племенную кобылу. Его взгляд был лишен похоти, но полон холодного анатомического интереса. — Альтернатива — стать никем. Пустотой. Белым листом. Вы уйдете отсюда сегодня. Через черный ход. Без денег, без документов, без кольца на пальце. Вы станете пылью на дорогах империи. Я научу вас видеть швы, на ко-

торых держится этот мир. Научу проходить сквозь них. Вы узнаете, что такое настоящая свобода воли. Цена высока: вы потеряете право на защиту. Любой закон, любая привилегия вашего рода станут для вас чужими. Если вас убьют в подворотне, никто не пришлет следователя по особо важным делам. Вы сгорите, как мотылек, полетевший на настоящий огонь вместо газового рожка.

Он остановился перед ней. Его серые глаза стали похожи на два свинцовых озера. — Но дышать вы будете. Первый раз в жизни. Решайте. Доктор Герман с его марганцовкой уже надевает чистые перчатки в людской. Время пошло.

Дарья посмотрела на свою руку. На кровь. На зеленый, хищный лист папоротника, жадно тянущийся к теплу газового рожка. Потом перевела взгляд на закрытую дубовую дверь, ведущую обратно в золоченый ад. Там, за этой дверью, играл оркестр. Там ее ждали титулы, земли, безопасность и медленное удушье.

Она вспомнила взгляд Эли у окна — бездну, в которой нет места ни Богу, ни черту. И впервые в жизни этот абсолютный, пугающий ноль показался ей надежнее, чем все гарантии Российской Империи.

— Марганцовка обжигает кожу, — тихо сказала она, поднимая подбородок. — Доктора Германа зовут Илья Моисеевич, и от него вечно пахнет мышьяком. Я ненавижу котильон.

Она подошла к столику, где садовник оставил секатор.

Взяла его здоровой рукой. Металл был холодным и шершавым.

Элей молча наблюдал за ней, не делая попыток остановить.

Дарья вернулась к своему отражению в темном стекле оранжерейного окна. На нее смотрела растрепанная фурия с размазанной по щеке тушью, кровавой ладонью и диким, торжествующим огнем в глазах. Она занесла секатор. Звякнули, падая на каменные плиты, обрезанные нити жемчуга с корсажа — она резким движением распорол лиф платья, освобождая грудь от тисков китового уса. Ткань с сухим треском разошлась до талии.

Свободный, морозный воздух зимней ночи, просачивающийся сквозь щель в крыше, ударил в обнаженную кожу. Дарья глубоко, с каким-то животным наслаждением втянула его в легкие. Воздух вошел легко, расправляя альвеолы, выжигая остатки сладкого тлена. Кашель прошел. Легкие горели, но это был огонь живого пламени.

— Хорошо, — кивнул Элей. В его голосе не было удивления, лишь удовлетворение мастера, выбравшего правильный инструмент. — Умрите красиво, графиня. Ваше отсутствие заметят минут через десять. Начнется восхитительный переполох.

Он бросил на пол перед ней потертый кожаный кошель, глухо звякнувший металлом. — Здесь хватит на поддельный паспорт и билет третьего класса до Казани. Дальше сами.

Встретимся через семь дней. Станция Малые Вяземы, третий верстовой столб от переезда. Если придете — начнем обучение. Если нет... значит, доктор Герман все-таки успел.

Элей развернулся и шагнул в самую густую тень между кадка́ми с гигантскими пальмами. Тень поглотила его целиком, не оставив даже звука шагов. Дарья осталась одна в разгромленной оранжерее, босая, полуголая, с чужой кровью на руках и звоном в ушах.

Она посмотрела на распоротое платье. На разбросанный жемчуг. На закрывающиеся раны папоротника. Затем перешагнула через порог оранжереи в холодный, темный коридор для прислуги. Позади, в главном зале, музыка оборвалась на пронзительной ноте — вероятно, кто-то наконец заметил пятна крови на паркете. Впереди была тьма.

Впервые в жизни Дарья Воронцова не знала, что принесет ей завтрашний день. И эта неизвестность была самым чистым, самым концентрированным счастьем, которое она когда-либо испытывала. Золотая клетка захлопнулась окончательно, навсегда отрезая путь к прошлой, мертвой себе. Бой курантов в главной башне особняка начал отбивать полночь, возвещая рождение нового часа и новой, никому не известной женщины.

Глава 2. Пыль под ногами

Стук копыт по брусчатке звучал иначе, когда ты сидишь не на обитом бархатом диване кареты, а сжавшись в комок на жесткой деревянной лавке третьего класса почтового дилижанса. В усадьбе отца лошади были продолжением человека — их холили, чистили скребницами до блеска, кормили отборным овсом и укрывали попонами с гербовой вышивкой. Здесь, на тракте между Петербургом и глухой провинцией, лошадь была лишь механизмом для сжигания угля и сена, издающим запах едкого пота и аммиака.

Дарья куталась в грубое шерстяное пальто горчичного цвета, купленное за бесценок у жены кучера вместе с потертым кожаным саквояжем. Элей оставил ей достаточно ассигнаций, чтобы купить эту новую кожу, но недостаточно, чтобы эта кожа выглядела новой. Пальто пахло чужим домом, кислой капустой и дешевым трубочным табаком. Каждый раз, когда Дарья втягивала этот запах, ее желудок сводило спазмом отвращения, который она тут же давила волевым усилием. Это был первый урок: тело лжет. Желудок требует стерильности, нос жаждет французских духов, но выживает тот, кто умеет спать на прелой соломе и радоваться черствому хлебу.

Она остригла волосы. Садовый секатор оказался слишком грубым инструментом для изящной работы, поэтому при-

ческа графской дочери теперь представляла собой неровную, рваную шапку темных волос, едва закрывающую уши. Левое ухо было прокушено — боль отвлекала ее всю дорогу от тряски и мыслей о том, что она оставила позади. Бриллиантовые серьги пришлось продать скупщику краденого в грязном переулке Коломны. Старик с бельмом на глазу долго рассматривал камни через медную лупу, бормоча молитвы, прежде чем выдать ей пачку мятых кредиток. Он смотрел на нее не как на аристократку, переодевшуюся нищенкой, а как на товар. Оценивающе, без жалости. Дарье тогда впервые стало по-настоящему холодно — холоднее, чем в нетопленной оранжерее.

Дилижанс со скрипом остановился. Возница, чья борода больше напоминала осиное гнездо, хрипло крикнул: — Малые Вяземы! Кому дальше — пересадка!

Пахнуло гарью, конским навозом и сыростью близкой реки. Дарья спрыгнула на землю, неловко подогнув ноги. Мышцы, привыкшие к плавному скольжению по паркету, отказывались держать вес тела после многочасового оцепенения. Земля под сапогами чавкнула. Настоящая грязь. Не гравий дворцовых аллей, а жирная, черная жижа, смешанная с конской мочой и угольной пылью. Она посмотрела на свои руки. Ногти, которые еще вчера полировала камеристка миндальным маслом, стали серыми траурными ободками.

Элей сказал ждать у верстового столба. Третий столб от переезда. Но переездов здесь было два, а столбов — десятки,

покосившихся, облезлых, с остатками белой краски, похожей на лишай. Начинало смеркаться. Небо над фабричными окраинами приобрело цвет старого синяка — лилово-багровое, подсвеченное снизу багровым заревом доменных печей.

Дарья пошла вдоль тракта, стараясь держаться тени заборов. Этот мир жил по другим законам. Здесь окна не зашивали шелком, чтобы скрыть частную жизнь; здесь ставни закрывали только на ночь, спасаясь от воров или холода. Из низких избенок, крытых прогнившей дранкой, тянуло дымом «зеленца» — сырых дров, которые давали мало тепла, но много ядовитого сизого дыма. Люди здесь двигались быстро, прижав локти к бокам, словно боясь, что пространство украдет их тепло. Никто не гулял ради удовольствия. Прогулка означала либо поиск работы, либо путь в кабак.

Она свернула в лабиринт улочек рабочего квартала, ориентируясь на самый громкий звук — ритмичный, оглушающий грохот ткацкого производства, перемежаемый пронзительными свистками паровозов. Дорога превратилась в месиво. Каблуки ее новых, дешевых ботинок вязли в грязи. Пришлось снять их и нести в руках, ступая босыми ногами по ледяной жиже. Острая боль от впившегося в пятку острого камня показалась ей почти благодатной — это было доказательство того, что она все еще чувствует.

Квартал бедняков встретил ее специфическим симфоническим оркестром нужды. Визг несмазанных колес тачек, ругань торговки рыбой, надсадный кашель туберкулезного

больного за тонкой стеной, плач младенца, которому вторит вой бездомной собаки. И над всем этим — пыль. Тончайшая, въедливая угольная и текстильная пыль. Она оседала на языке, забивалась в поры кожи, делала мокрые волосы жесткими паклями.

Дарья остановилась у перекрестка, прижавшись спиной к стене бревенчатой бани, покрытой зеленой слизью. Ее начало мутить. Не от запаха — хотя вонь выгребных ям, выплескиваемых прямо на улицу, могла свалить с ног быка, — а от масштаба увиденного. В отцовских отчетах Департамента уделов эти люди значились цифрами. Душами мужского пола. Ревизскими единицами. Они платили оброк, болели цингой, уходили в солдаты. Сейчас цифры обрели лица.

Женщины стояли в очереди у водоразборной колонки. Их плечи были перекошены от тяжести коромысел. Лица, несмотря на молодость многих из них, казались древними. Глубокие складки вокруг рта, лопнувшие сосуды на щеках от постоянного пара, глаза, красные от бессонницы и раздражения ткани. Одна из прачек, совсем девочка лет шестнадцати, опустила ведро на мостовую и согнулась пополам, заходясь в приступе рвоты. Соседки даже не обернулись. Лишь одна, стоявшая впереди, монотонно бросила: — Не трави лужу, Анютка. Тут людям ходить.

Это равнодушие потрясло Дарью больше, чем любая открытая жестокость. В светской гостиной игнорирование считалось высшей формой казни. Здесь оно было условием вы-

живания. Если реагировать на каждую судорогу соседа, сойдешь с ума еще до первого снега.

Дарья двинулась дальше, туда, где грохот стоял плотнее. Фабричные казармы. Четырехэтажные кирпичные корпуса с выбитыми кое-где стеклами, заткнутыми тряпьем. Из открытых форточек второго этажа валил пар — там сушилось белье. Тысячи одинаковых серых рубаш, портянок и детских штанишек висели на веревках, натянутых крест-накрест, превращая внутренний двор в жутковатый лес мертвых кукол.

Она проскользнула внутрь через калитку, которую подпирал кирпич. Сторож, клевавший носом в будке, даже не поднял головы. Полутемный коридор первого этажа ударил в лицо жаром, влагой и запахом щелока. Женщины работали здесь сутками напролет. Ткачихи.

В длинном зале, освещенном тусклыми газовыми рожками, сотни рук двигались в едином, гипнотическом ритме. Смена челноков. Протяжка основы. Удар берда. Звук сотен деревянных деталей, сходящихся с силой кузнечного молота. Воздух здесь был густым от хлопковой взвеси. Дарья сделала вдох и закашлялась так сильно, что из глаз брызнули слезы. Хлопковая пыль намертво склеивала ресницы и лезла в горло, вызывая ощущение битого стекла внутри.

Она прислонилась к опорному столбу, разглядывая работниц. Большинство сидели на грубо сколоченных скамьях, запрокинув головы назад. Рты открыты, шеи напряжены. Де-

сятиминутный перерыв на сон. Они не ложились — просто падали на доски там, где стояли, используя собственные колени как подушки. Сон настигал их быстрее, чем они успевали добежать до нар на верхних ярусах.

Одна женщина, грузная, с руками-окороками, вдруг резко дернулась, просыпаясь. Глаза ее были безумными. — Опять уснула, дура старая! — прошипела она сама себе и принялась лихорадочно связывать оборвавшуюся нить. — Штраф вычтут. По миру пойдем.

Рядом с ней работала девушка поразительной красоты, совершенно неуместной среди этого ада. Тонкие черты лица, бледная кожа, которая в свете газа казалась фарфоровой. Но пальцы... Пальцы были похожи на куриные косточки, обмотанные кровавыми нитями. Она ловко перебирала основу босыми ногами, нажимая на педали станка. Дарья заметила, что большие пальцы на обеих ногах девушки отсутствуют — отморожены прошлой зимой, догадалась она. Девушка улыбалась. Она напевала что-то себе под нос, какую-то тягучую, грустную мелодию, синхронизируя ритм песни с ударами станка.

Дарья шагнула вперед. Деревянный пол предательски скрипнул. Девушка-певунья мгновенно замерла. Ее голова повернулась медленно, как у хищной птицы. Взгляд черных глаз прошел сквозь Дарью, оценил стоптанные каблуки, дешевую ткань пальто, стриженные волосы — и вынес приговор. Чужачка. Барыня. Или шпик.

— Тебе чего? — голос у девушки оказался низким, прокуренным, никак не вязавшимся с ангельской внешностью. — Заблудилась, курица?

Дарья растерялась. Все сценарии общения, заложенные гувернантками, рассыпались в прах. Там нужно было улыбнуться, сделать комплимент кружеву или поинтересоваться здоровьем тетушки. Здесь любое проявление вежливости воспринималось как агрессия или насмешка. — Я... я хотела спросить, — начала Дарья, понижая голос до шепота, хотя в реве станков ее все равно никто бы не услышал. — Где здесь можно найти кипятку? И хлеба.

Девушка фыркнула, отворачиваясь обратно к станку. Ее босые искалеченные ноги снова замелькали в воздухе, нажимающие на латунь педалей. — На кладбище тебе кипятку дадут. Вместе с земелькой. Проваливай, пока мастер Михалыч тебя не увидел. За компанию с тобой и нам штраф впаяет за посторонние разговоры. Станок стоит — алтын минус.

Унижение обожгло щеки. Дарья почувствовала себя глупой, неуклюжей куклой, пытающейся играть в живые шахматы. Она полезла в карман пальто, нащупывая монеты. Деньги всегда открывали любые двери в ее прежнем мире. — Подождите. Вот. Возьмите. Купите еды.

Она протянула на открытой ладони серебряный полтинник. Огромные деньги для этих стен, цена недельного рациона целой семьи. Руки девушки-певуньи остановились. Медленно, очень медленно она повернула голову. Остальные

женщины в радиусе трех саженей тоже прекратили движение. Газовый рожок над их головами тихо шипел, единственный свидетель повисшей тишины. Сотня глаз уставилась на серебро в руке Дарьи.

— Ты кого купить хочешь, образина? — процедила красавица, не меняя выражения лица. — Свою смерть? — Я хочу помочь, — выдохнула Дарья, чувствуя, как паника начинает сжимать горло ледяной рукой. Инстинкт кричал бежать, но гордость, та самая дворянская спесь, заставляла стоять на месте. — Помочь? — девушка вдруг рассмеялась. Смех был сухим, трескучим, как ломающаяся ветка. — Положи монету на пол, барыня. А теперь наступи на нее. Дави изо всей силы. Что чувствуешь? — Бумагу, — недоуменно ответила Дарья. — Металл... — Ничего ты не чувствуешь, кроме холодного, — отрезала ткачиха. — А мы чувствуем. Эта монета — чей-то ужин. Чья-то смена. Если ты швыряешься такими деньгами, значит, ты вор. Либо мужа обворовала, либо отца родного на тот свет спровадила ради наследства. У честного человека таких денег быть не может. Особенно у такой сопли, как ты. Уходи. Пока зубы целы.

Она отвернулась. Педали снова застучали. Станок взревел, плюясь обрезками ниток. Разговор был окончен. Мир захлопнулся. Дарья осталась стоять с протянутой рукой, посреди ревающего цеха, ощущая себя призраком. Она была невидимкой. Нет, хуже — она была заразой. Пятном другой реальности, которое эти люди инстинктивно пытались

смыть, чтобы сохранить свой хрупкий, больной, но работающий порядок.

Ночь опустилась на город внезапно, словно кто-то выключил свет. Зарево заводов стало единственным источником освещения, окрашивая низкие облака в цвет запекшейся крови. Дарья брела наугад, петляя по кривым улочкам, подальше от фабрики. Ботинки она давно надела — замерзшие ноги потеряли чувствительность и начали мелко, противно дрожать.

Она вышла к реке. Вода стояла низко, обнажив глинистые берега, покрытые мусором:дохлыми кошками, гниющими овощами, ржавым железом. На берегу, прямо на голой земле, сидели прачки. Те самые, которых она видела днем. Только сейчас рядом с ними лежали не вальки, а пустые корзины. Работа закончилась.

Они развели небольшой костерок в старой железной бочке. Огонь отбрасывал огромные, пляшущие тени на склон холма. Женщины сидели тесным кругом, передавая по кругу одну жестяную кружку. От нее пахло резким духом самогона.

Дарья спряталась за углом полуразвалившегося сарая, наблюдая. Она ожидала увидеть отчаяние. Слезы. Проклятия тяжелой доле. Но то, что происходило у костра, не вписывалось в ее понимание горя. Самая старшая из женщин, беззубая, с лицом, похожим на печеное яблоко, громко расска-

зывала что-то, активно жестикулируя. Остальные смеялись. Громко, раскатисто, запрокидывая головы. Одна молодая баба упала на спину прямо в сырую глину, держась за живот и дрыгая ногами в истерике. Старуха стукнула ее пустой кружкой по колену, и смех стал еще громче.

Потом они запели. Без гармониста, а капелла. Голоса были хриплыми, сорванными, но удивительно чистыми в ночной прохладе. Они пели песню про бродягу, бегущего от каторжной неволи. В песне говорилось о кандалах, о соленом поте и о воле, которая дороже жизни. Но интонация... Интонация была ликующей. Они воспевали свободу так, как аристократы воспевают победу в войне. Для них свобода была не абстрактной философской категорией, которой мучился отец Дарьи, читая Шопенгауэра в кабинете. Свобода была конкретным отсутствием хозяйского глаза и плетей. Даже если ценой этой свободы была голодная смерть в канаве.

Дарья смотрела на их изможденные лица, освещенные оранжевым пламенем. Морщины, въевшаяся в поры угольная пыль, мозоли размером с пятак, скрюченные артритом пальцы. Объективно они страдали невыносимо. Любой врач констатировал бы стадию полного истощения жизненных сил. Но субъективно... Субъективно они дышали полной грудью. Та прачка, что упала в грязь, сейчас вытирала слезы смеха рукавом драной кофты, и глаза ее сияли ярче любых бриллиантов из коллекции матери Дарьи.

В этом был страшный, непостижимый парадокс. Чем

меньше у человека оставалось материального — здоровья, имущества, надежд на завтра — тем свободнее становилась его душа. Золотая клетка отца защищала от голода, но убивала способность смеяться над собственной болью. Эти женщины владели лишь своими телами да дырявыми юбками, но их смех принадлежал только им. Его нельзя было обложить налогом или забрать за долги.

Внезапно песня оборвалась. Одна из женщин, та, что днем сгибалась от кашля, схватилась за грудь. Она захрипела, опрокидываясь набок. Жестяная кружка звякнула о камень, расплескивая остатки сивухи. Мгновенная реакция круга потрясла Дарью. Никто не вскрикнул. Никто не побежал за доктором — зачем, если доктора требуют плату, которой нет? Старуха-заводила молча поднялась. Две другие женщины подхватили хрипящую подругу под руки. Четвертая подбросила в костер охапку щепок, осветив процессию. Они молча, деловито понесли женщину прочь от огня, вниз по склону, к воде.

Дарья поняла, куда они идут. К общей могиле. К оврагу за скотобойней, куда сбрасывают тех, у кого не осталось родни для отпевания. Они провожали умирающую не молитвой, а молчанием. И в этом молчании было больше уважения к смерти, чем во всех золотых саркофагах Петропавловского собора.

— Страшно смотреть, ваше сиятельство?

Голос Эли прозвучал прямо над ухом. Дарья подпрыгну-

ла от неожиданности, больно ударившись плечом о бревно сарая. Она развернулась, хватая ртом воздух. Он сидел на крыше сарая, свесив одну ногу в стоптанном сапоге. В темноте он сливался с тенями, виднелся лишь силуэт и красный уголек самокрутки, вспыхивающий в такт его дыханию. — Вы следили за мной? — выдохнула Дарья, пытаясь унять бешеный стук сердца. — Наблюдал, — поправил Элей. — Следят ищейки Третьего отделения. Я изучаю материал. Как лекарь изучает язву перед ампутацией. Ну как вам ваш новый народ? Понравились игрушки? — Они... они счастливы, — вырвалось у Дарьи. — Это чудовищно. Им должно быть плохо. Они должны требовать справедливости. Бунта. Крови наших детей. Почему они смеются? Элей соскользнул с крыши мягко, по-кошачьи. Он подошел ближе. Теперь пламя далекого костра освещало половину его лица, оставляя другую в абсолютной тьме. — Потому что смех — это последний бастион души, Дарья Сергеевна. Когда у вас отнимают всё, остается выбор: выть на луну или научиться шутить над луной. Тот, кто научился шутить, неуязвим. Вашего отца можно уничтожить, опубликовав подделанный вексель. Этих женщин нельзя уничтожить ничем, кроме быстрой смерти. А быстрая смерть для них часто милосерднее долгой жизни. Поэтому они поют.

Он помолчал, затягиваясь. Дым пах махоркой и горькой степной полынью. — Вы попытались дать им серебро сегодня. Знаете, почему они вас чуть не разорвали? — Потому

что я чужая, — глухо ответила Дарья. — Потому что мое сострадание оскорбительно. — Ерунда, — отрезал Элей. — Ваше сострадание бесполезно. Вы предложили одной женщине сумму, на которую вся эта артель будет жить неделю. Этим вы поставили под угрозу их иерархию. В стае гиен появление лишнего куска мяса вызывает грызню, в которой слабого съедят первым. Предлагая ей богатство, вы предлагали ей стать предательницей. Выброситься из системы взаимопомощи, где делятся последним куском лепешки, потому что знают: завтра лепешка понадобится самой дарительнице. Ваша благотворительность — это яд замедленного действия. Она разрушает их общность эффективнее любого полицейского участка.

Дарья закрыла лицо ладонями. Холод металла перстня обжег веко. До этого момента она думала, что трагедия — это потеря состояния. Сейчас она понимала: настоящая трагедия — это неспособность понять язык другого мира. — Чему вы можете меня научить? — спросила она, опуская руки. Лицо ее было мокрым то ли от речной сырости, то ли от слез бессилия. — Если я даже подать милостыню правильно не могу? — Я могу научить вас видеть структуру, — ответил Элей. — Вы смотрите на толпу и видите людей. Жалких, страдающих, достойных сочувствия. Это ошибка зрения. Толпа — это физический закон. Гидродинамика. Потoki плотности. Чтобы выжить в океане, не обязательно любить воду. Нужно знать направление течений.

Он достал из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист бумаги. Развернул его. Это была карта города, выполненная тушью, но поверх официальных кварталов были нанесены другие линии — тонкие, пульсирующие, нарисованные красным карандашом. — Видите? — палец Эли коснулся района, где находилась фабрика. — Красное — это напряжение. Узлы страха, голода и злобы. Завтра утром хозяин мануфактуры снизит расценки за аршин полотна на две копейки. Формально — ничто. Фактически — это означает, что вот эта группа женщин, — он ткнул в точку на карте, — останется без ужина. Их дети лягут спать с пустым желудком. Красный штрих на карте в той точке заметно утолщился. — Через три дня жена мастера упадет с лестницы, поскользнувшись на мыле. Несчастный случай. Мастер станет злым вдвойне. Еще через день начнется чесотка в третьем бараке из-за плохой воды. Напряжение достигнет критической массы.

Элей посмотрел на Дарью своим тяжелым, свинцовым взглядом. — Аристократ ищет смысл жизни в вечности. Купец — в прибыли. Священник — в Боге. Человек дна ищет смысл в балансе сегодняшнего вечера. Получится ли пожрать и не получить ли по зубам. Экзистенциальный кризис вашего батюшки выглядит отсюда как дурная комедия. Хотите перестать быть декорацией, Дарья? Перестаньте искать смысл. Начните искать точки напряжения. Научитесь читать красное на карте. Тогда вы поймете, как управлять золотом,

не касаясь его руками.

Он протянул ей карту. — Оставайтесь в городе. Найдите ночлежку. Ту, что принадлежит хромому Игнату у Сухого моста. Заплатите ему самую мелкую монету, какая есть, и скажите пароль: «Туман над Обводным». Вас положат на тюфяк. Утром найдете работу. Любую. Черную, вонючую, отшибающую руки. Вы будете работать, пока не начнете чувствовать радость от простого глотка теплой воды.

Элей сделал шаг назад, собираясь раствориться в ночи. — Зачем вам это? — быстро спросила Дарья, преграждая ему путь. — Зачем вам учить меня? Кто вы такой на самом деле?

Элей усмехнулся. В этой усмешке не было ни капли человеческого превосходства, лишь бесконечная, вселенская скука. — Я человек, который однажды понял, что золотые клетки строят сами птицы. Им дают блестящие проволоочки, и они сами сплетают их в решетку, радуясь каждому новому звену. Мой интерес чисто академический. Мне любопытно посмотреть, сможет ли птица, уже вылетевшая наружу, добровольно вернуться в клетку, зная, как она устроена. Или же она предпочтет разбиться о стекло фонаря. Спокойной ночи, графиня. Постарайтесь не умереть от простуды. Смерть от горячки — пошлое завершение для столь драматичного побега.

Он отступил в темноту между сараями. Послышался тихий шорох осыпающейся земли, и Элей исчез. Растворился, как соль в воде. Не было звука шагов, не мелькнула тень.

Просто пустота там, где секунду назад стоял живой человек.

Дарья осталась одна на берегу черной, маслянистой реки. Внизу, у костра, женщины продолжали сидеть. Хрипящая подруга, видимо, уже отошла, и теперь они просто грелись, глядя в огонь. Старуха вытащила из-за пазухи засохший кусок сахара — белый островок в море грязи. Она разделила его ножом на четыре крошечные части. Каждая взяла свою долю, положила на язык и зажмурилась от наслаждения.

Даржа посмотрела на свою руку. Серебряный полтинник все еще лежал в ладони. Монета жгла кожу, как раскаленный уголь. Она размахнулась и швырнула его далеко в реку. Всплеска не последовало — вода поглотила металл жадно и беззвучно.

Затем она запахнула ворот дешевого пальто, пряча декольте, которого больше не было, и зашагала прочь от реки, в сторону Сухого моста. Навстречу запаху нечистот, гниющего дерева и человеческой плоти. Навстречу своей первой настоящей ночи вне золотой клетки. Ей предстояло узнать цену теплу, цену сна и цену собственного снобизма, который цеплялся за края ее души, как репейник. Город-призрак принимал ее в свои объятия, и пыль под его ногами должна была стать ее единственной постелью.

Глава 3. Хлеб и соль

Ночлежка хромого Игната пахла мокрой псиной, застарелым потом и отчаянием, доведенным до стадии абсолютного покоя. Это был сырой подвал под складами у Сухого моста, где потолок так низко нависал над головой, что Дарья, даже согнувшись в три погибели, задевала макушкой почерневшие от грибка балки.

Пароль сработал. Хромой Игнат — мужик с лицом, похожим на растоптанный сапог, один глаз которого вытек и затянулся белесой пленкой, а второй смотрел не мигая, как у змеи, — молча принял от нее медную полушку. Он не дал ей ни тюфяка, ни одеяла. Вместо этого он ткнул узловатым пальцем в угол, заваленный гниющей соломой, поверх которой была брошена дерюга, кишевшая насекомыми. — До рассвета выметайся, — просипел он, выпуская клубы едкого махорочного дыма прямо ей в лицо. — И если кто из местных тебя тронет — сама виновата. Я за барскую кровь перед жандармами отвечать не подписывался.

Солома воняла аммиаком и мышами. Дарья легла прямо на голые доски, подмостив под голову собственный локоть. Она закрыла глаза, пытаясь уснуть, но тело, привыкшее к пуховым перинам и матрасам из морской травы, отказывалось расслабляться. Каждая доска впивалась в лопатки, каждый вздох поднимал в воздух облачко пыли, забивающей нос. Но

самым страшным был холод. Не тот бодрящий морозец, по которому она скучала в натопленных залах усадьбы, а липкий, могильный холод камня, который высасывает тепло из костей быстрее, чем человек успевает его произвести. К утру ее зубы выбивали такую дробь, что казалось, челюсть вот-вот раскрошится.

Рассвет застал ее уже на ногах. В подвале было невозможно отличить ночь от утра, поэтому Дарья ориентировалась на звук: когда сверху, по доскам настила, загрохотали тяжелые сапоги грузчиков, открывающих склады, она поняла, что пора уходить.

Она вышла в серый, морозящий дождь. Город выглядел еще более враждебным при дневном свете. Лица прохожих были серыми масками, лишенными индивидуальности. Все спешили, опустив головы, пряча шеи в воротники. Дарья шла вместе с этим потоком, стараясь копировать их походку — шаркающую, экономящую силы. Она чувствовала себя пустой скорлупой. Внутри не осталось ни страха, ни жалости к себе, только звенящая пустота и сосущее чувство в желудке. Последний раз она ела вчера днем — кусок жесткого мяса в дилижансе, приправленный дорожной тряской.

К полудню она вышла к тракту. Московское шоссе гудело. Здесь заканчивался имперский лоск столицы и начиналась настоящая Россия — огромная, грязная, торгующая всем, что можно продать. Таверна «Якорь и Подкова» стояла на развилке, притягивая к себе всех путников, словно огром-

ный железный магнит. Двухэтажное бревенчатое строение с коновязью, облепленной галдящими воробьями, и покосившимся крыльцом, ступени которого блестели от пролитого жира и грязи.

Дарья толкнула тяжелую дубовую дверь. На нее обрушилась звуковая и тепловая волна. Гул десятков голосов, стук оловянных кружек о деревянные столы, визг расстроенной скрипки в углу, густой запах жареного лука, кислой капусты, дегтя и мокрой овчины. Воздух здесь был осязаемым — им можно было давиться.

Внутри царило первобытное равенство. За одним длинным столом плечом к плечу сидели бородатые купцы-старобрядцы в длинных кафтанах, расшитых серебряной нитью; приказчики в суконных поддевках; небритые ямщики в армяках, пропахших лошадиным навозом; и пара солдат-инвалидов, побирающихся Христа ради. Аристократии здесь не было. Вернее, она присутствовала лишь в виде анекдотов про глупых помещиков, которые рассказывают сами же дворяне, переодевшись в купеческое платье для маскировки.

Дарья остановилась посреди зала, растерявшись. Куда идти? Что делать? Элей велел найти работу, но никто не давал ей инструкций. Она просто стояла столбом, источая чужеродность, как разбитый флакон духов в выгребной яме.

— Чего встала, птаха залетная? Проход загораживаешь! — рявкнули откуда-то снизу.

Трактирщица Марфа оказалась женщиной-глыбой. Ее

рост едва достигал четырех футов, но ширина плеч заставляла вспомнить о каменных идолах острова Пасхи. Руки толщиной с хорошую ветчину упирались в бока. Передник из мешковины был черным от векового слоя копоти и жира. — Места нет, все занято, — отрезала Марфа, окинув взглядом дешевое пальто Дарьи. — Или заказывай, или проваливай. У нас тут благотворительностью не занимаются. — Я могу работать, — быстро сказала Дарья. Голос сел от холода и долгого молчания, превратившись в хриплый шепот. — Посуду мыть. Полы. Дрова колоть.

Марфа фыркнула так, что пламя ближайшей сальной свечи заколебалось. — Дрова она колоть будет... Да ты топором двумя руками не удержишь, облезлая. Ладно, ступай на кухню. Котлы драить после господ офицеров. Если найду хоть одну присохшую крупинку гречки — рассчитаю тумачами. Иди вон туда, мимо нужника.

Кухня напоминала преисподнюю. Огромная печь занимала треть помещения, дышала сухим жаром, от которого мгновенно заболела голова. Над огнем висели чугунные котлы размером с ванну. Пар, смешанный с чадом, оседал на потолке черной жирной слизью. Помощница повара, девчонка лет двенадцати с совершенно седой прядью на лбу (след ожога), молча сунула Дарье тряпку, пучок жесткой мочалы и ведро холодной воды, на дне которого лежал слой песка. — Скреби, — буркнула девочка и вернулась к разделке говяжьего бока.

Работа началась. Дарья опустилась на колени перед огромным медным тазом, в котором накануне тушили зайчатину. Жир застыл причудливыми сталактитами, перемешанными с песком и сажей. Первые десять минут она работала механически, пытаясь отстраниться. Запахи кухни вызывали тошноту. Комбинация лука, старого масла и человеческих испарений была невыносима. Но вскоре тошнота отступила перед физической болью. Пальцы, непривычные к грубой работе, покрылись волдырями от горячей воды и разъедающей соли. Спина, которую годами учили держать прямой благодаря корсету, ныла от постоянного наклона. Песок из ведра действовал как наждак, сдирая кожу с костяшек.

Но вместе с болью приходило нечто иное. Очищение. С каждым движением мочалы, с каждой слезшей чешуйкой засохшего жира, с нее сходила позолота. Стержень гордости, державший позвоночник графини Воронцовой, растворялся в грязной воде. Остатки шеллака на ногтях исчезли, обнажив бледную, уязвимую плоть. Дарья терла медь так яростно, словно пыталась содрать собственную кожу, чтобы посмотреть, что находится под ней.

— Эй, новенькая! Грубый толчок в плечо вырвал ее из транса. Один из половых — шустрый малый с бегающими глазами и напомаженным коком — швырнул ей стопку грязных тарелок. — Разбей хоть одну — будешь платить. Барегуляют во втором зале, требуют стерильности. Живо шевелись, кабан ждать не любит.

Кабаном оказался купец первой гильдии Савва Митрич. Его огромное брюхо свешивалось через ремень портупей, туго перетягивающий рубаху. Лицо цвета вареной свеклы лоснилось от пота и водки. Он сидел в отдельном кабинете, стены которого были увешаны рогами убитых лосей и лубочными картинками с видами Иерусалима.

Дарья вошла с подносом, уставленным дымящимися блюдами. Расстегаи с вязигой, поросенок с гречневой кашей, гора блинов, ведерный самовар. От запаха еды желудок светло такой судорогой, что Дарья пошатнулась. Купец заметил это. — А ну стой, девка, — пробасил он, цепляя ее за край рукава пальцами, унизанными массивными золотыми перстнями-печатками. — Ты чего зеленая такая? Больна? — Нет, ваше степенство, — выдохнула Дарья, опуская глаза. — Со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было.

Савва Митрич захохотал. Смех его сотрясал жировые складки на груди и заставлял дрожать стаканы на столе. — Росинка! Ну сказанула! Садись, сирота казанская. Он кивнул половому: — Гришка, плесни ей чарку анисовой. И щей плесни в миску, да погуще. Пусть пожрет, смотреть тошно.

Дарья хотела отказаться. Дворянская спесь, этот мертвый призрак прошлого, попытался поднять голову. Прислуживать за одним столом? Пить водку из общей посуды? Но спазм голода оказался сильнее. Она села на краешек скамьи, предложенной купцом, взяла деревянную ложку. Щи оказались огненными, заправленными салом. Первый глоток об-

жег пищевод, второй — согрел нутро. Хлеб, который она отломала от каравая, показался ей вкуснее любого пирожного от французского кондитера отца. Потому что этот хлеб имел цену. Он весил ровно столько, сколько стоил пот человека, вырастившего рожь.

— Из благородных, что ль? — спросил купец, отправляя в рот целый расстегай. Борода его блестела от жира. — Руки белые, тонкие. И ложку держишь неправильно, как птичка клюет. Дарья замерла. Сердце пропустило удар. — Сирота я, — ответила она заготовленную ложь. — Приживалкой жила у тетушки, та преставилась. Вот, ищу место горничной. — Врешь, — добродушно констатировал Савва Митрич, запиная еду водкой. — Горничные спину гнут иначе, они юркие. А ты ходишь, будто палку проглотила. Даже сейчас сидишь ровнехонько. Благородная кость, сразу видать. Только одета как чушка. Карточный долг батюшки? Или брат промотал имение?

Лгать человеку, чьи глаза видели половину империи и умели считать деньги по весу кошелька, было бесполезно. Дарья решила использовать правду как оружие, предварительно исказив пропорции. — Муж оставил без средств, — произнесла она, глядя в свою миску. — Титул отобрал род мужа при разводе. Возвращаться к отцу стыдно.

Купец внимательно посмотрел на нее. Водка сделала его взгляд масляным, но отнюдь не тупым. — Развод... Редкая птица. Значит, закона не боишься, коль церковный суд пе-

реступила. Хорошо. Мне такие нужны. — Для чего? — на-
пряглась Дарья. — Для дела торгового, — хитро прищурил-
ся Савва Митрич. — Я ведь, милая, не просто так пузо грею.
Я чай везу. Прямо оттуда, — он ткнул большим пальцем ку-
да-то за спину, подразумевая бескрайние просторы Сибири
и границы с Китаем. — Караванами. Через Кяхту. Знаешь,
что такое Кяхта?

Дарья знала. Таможенный форпост. Место, где европей-
ская цивилизация встречалась с азиатской дикостью. Где ме-
няли серебро на тюки прессованного чая, который затем
полгода везли на санях через тайгу. — Там закон — тайга,
медведь — прокурор, — продолжал купец, размахивая вил-
кой. — Государев мытарь спит и видит, как мою таможен-
ную пломбу сорвать. Чай нынче дорог, особенно цветочный.
Каждый фунт — золотым песком плачен. А везем мы его
пудами.

Он наклонился через стол, обдавая ее запахом чеснока и
перегара. Его голос упал до заговорщицкого шепота: — Нуж-
но мне письмо одно доставить. В Нижний Новгород. Чело-
веку моему. Чтобы встретил обоз на переправе. Дело дели-
катное. Ежели полиция перехватит — каторга. Тебе терять
нечего, дворянка бывшая. Зубами грызть будешь, но доне-
сешь. Платить буду щедро. По прибытии — пятьдесят руб-
лев ассигнациями. На первое время хватит и чепчик новый
справить, и маменьке твоей свечку за упокой поставить.

Пятьдесят рублей. Сумма колоссальная. Для этих людей

деньги измерялись выживанием. Для нее раньше — прихоть. Предложение опьяняло своей доступностью. Всего одна поездка. Одно письмо. И она снова сможет снять комнату, купить чистую одежду, может быть, даже выкупить свои бриллианты назад...

— Почему я? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — У вас полно своих людей. — Свои люди у меня для кулаков годятся, — ухмыльнулся Савва Митрич. — А курьер должен мозги иметь. И вид иметь. Полиция бабу с письмом искать будет в последнюю очередь, тем более такую... неприкайнную. Решайся. Али страх Божий сильнее голода?

Голод победил. Дарья кивнула. Впервые в жизни она продавала не свое имя или право наследования, а свой риск. Это была сделка равных. Купец нуждался в ее отчаянном положении так же, как она нуждалась в его деньгах. — По рукам, — прохрипел Савва Митрич. — Гришка, бумагу сюда! И печать.

Пока половой бегал за письменными принадлежностями, купец откинулся на спинку стула и начал рассказывать. Видно, водка развязала язык, а благодарная слушательница была редкостью в придорожных кабаках. — Ты думаешь, свобода — это когда денег много? — спросил он вдруг, глядя сквозь нее. — Дура ты, хоть и образованная. Свобода — это когда тебе завтрашний обед не снится. Вот смотри на меня. Миллионщик. Три парохода на Волге. Дома в Москве, Казани и

Астрахани.

Он постучал себя по огромному животу. — Третий день изжога мучает. Доктора говорят — желчь дурная. Запрещают острое, запретили водку. А я без перца жить не могу, душа сохнет. Каждое утро считаю убытки от сгоревшей баржи под Самарой. Налоговая сидит в печенках. Конкуренты динамит подложить хотят под склады. Это, по-твоему, свобода? Это клетка, голубка. Золотая, резная, замки снаружи, но решетка внутри моя собственная. Я этой золотой проволокой сам себя обмотал, потому что вылезти боюсь. А там, снаружи, знаешь, что? Ветер.

Принесли письмо. Плотный конверт из синеватой бумаги, запечатанный сургучом с оттиском верблюда. Савва Митрич протянул его Дарье. — Зашей в подкладку. И запомни: спросят, скажешь — от брата из Твери, гостинчик матушке. Иди пешком вдоль тракта, не нанимай лошадей. На лошадях ездят те, кого грабить выгодно. Пеший бродяга никому не нужен. Держись почтовых станций, но внутрь не заходи, ночуй в стогах.

Он вложил ей в руку еще одну монету — серебряный рубль. — Это аванс. Купи себе валенки, ноги сотрешь в кровь. И сала. Много сала. Без сала в ноябре сдохнешь.

Вечером, когда основной поток посетителей схлынул, сменившись пьяными компаниями ямщиков, Дарья осталась помогать Марфе пересчитывать выручку. Работа была про-

стой: сортировать медь, серебро и бумажки, записывая суммы в засаленную книгу.

Марфа двигалась тяжело, но сноровисто. Она передвигала монеты короткими, сильными пальцами, мусоля карандаш толстыми губами. — Ты руки-то береги, — неожиданно мягко бросила она, не отрываясь от счетов. — Вон как распухли. Мозоли сойдут — кожа месяц слезать будет. Мазью бы помазать, да где же ее взять. — Спасибо, Марфа, — тихо ответила Дарья. Простое сочувствие со стороны женщины, которая утром грозилась избить ее, растрогало больше, чем вся отцовская забота. — Себя благодари, — буркнула трактирщица. — Работать можешь. Многие господа, когда вниз скатываются, либо вешаются с тоски, либо в блуд ударяются. А ты гребешь. Это хорошо. Жизнь грязь любит, кто не боится ручки испачкать, того не сожрет.

Они закончили подсчеты поздно ночью. Марфа плеснула Дарье в кружку кипятку и бросила туда щепотку сухих листьев смородины. — На, погрейся. Иди спать. Лавку в сенях дам, крысы там редко ходят.

Дарья сидела на деревянной лавке в холодных сенях, завернувшись в старый тулуп, пахнувший псиной и нафталином. Сквозь щели в стене тянуло ночным морозцем. Рядом, в общем зале, продолжали гулять. Кто-то рыдал, рассказывая собутыльнику о сгнувшем в метели коне. Кто-то громко храпел, уронив голову в квашеную капусту. Жизнь вокруг кипела, булькала, смердела и смеялась.

Дарья достала из-за пазухи синий конверт. Провела пальцем по шершавому сургучу. Пятьдесят рублей. Цена ее первого шага в настоящем мире. Ей хотелось вскрыть печать. Узнать, что внутри. Долговые расписки? Шпионские донесения? Указания контрабандистам?

Но дело было не в письме. Дело было в том, что сказал купец. *Свобода — это отсутствие нужды*. Дарья всегда считала, что отец абсолютно свободен. Он владел тысячами десятин земли, лесами, заводами, крепостными душами. Никто не смел указывать ему, как жить. Теперь, сидя на ледяной лавке среди блох, она понимала всю глубину своего заблуждения. Отец никогда не был свободен. Его жизнь была расписана протоколами Министерства двора, этикетом, биржевыми сводками и необходимостью поддерживать статус. Он боялся потерять капитал больше, чем смерть. Его золотые прутья клетки были невидимы, потому что он сам помогал их возводить, называя это «ответственностью перед родом».

Ее нынешняя свобода была другой природы. У нее не было ничего. Ни титула, ни прав, ни защиты закона. Любой городской мог забрать ее в участок просто потому, что ей негде преклонить голову. Любой встречный мужик мог свернуть ей шею ради пальто. Это должно было пугать до безумия.

Но вместо страха Дарья испытывала странное, почти детское ликование. Если завтра ее убьют, она потеряет только жизнь. Одну. Жалкую, промокшую, голодную. Но пока она

жива — она принадлежит только себе. Ей не нужно улыбаться мерзкому князю Мещерскому. Ей не нужно слушать лекции отца о пользе свекловичных плантаций. Ей не нужно притворяться мраморной статуей.

Она посмотрела на свои руки, лежащие на коленях. По-красневшие, опухшие, с обломанными ногтями и въевшейся грязью под ними. Эти руки впервые сделали что-то полезное. Они отмыли жир, они считали реальные деньги, они принимали хлеб из рук другого человека не как данность, а как дар.

Оковы аристократии состояли из ожиданий. Оковы бедности — из законов физики и голода. Физика была честнее. Если ты не работаешь, ты падаешь. Если ты не ешь, ты умираешь. Никаких посредников. Никаких условностей.

Скрипнула дверь. На порог сеней вышел Элей. Он стоял, засунув руки в карманы простого крестьянского армяка, и смотрел на нее. В темноте его глаза казались двумя осколками льда. — Как вам первая ступень ада, Дарья Сергеевна? — спросил он своим обычным, лишенным эмоций голосом. — Медный таз понравился? — Вы знали, что я возьму письмо, — сказала Дарья вместо ответа. Это не было вопросом. — Конечно. Савва Митрич возит чай для Великого князя Михаила Николаевича. Тот самый чай, который ваш отец пьет по утрам, морщась, если лист недостаточно мелкий. Круг замыкается. Кровь рода питается кровью тех, кто эту землю пашет и товары по ней таскает. Вам понравилось продавать свой риск? — Это лучше, чем продавать улыбку,

— ответила Дарья. Она поднялась с лавки, скидывая тяжелый тулуп. Холод моментально впился в плечи. — Зачем вы следите за мной? Хотите убедиться, что я сломаюсь? — Хочу убедиться, что вы наконец начали собирать себя заново, — Элей шагнул ближе. Теперь между ними было расстояние вытянутой руки. — Сегодня вы поняли главное отличие свободы воли от вседозволенности. Ваша семья имела вседозволенность. Могли купить любую вещь, любое тело, любой закон. Но их воля была парализована комфортом. Им некуда было хотеть.

Элей вынул из кармана яблоко. Мелкое, кислое, зимнее. Протянул ей. — Свободная воля начинается там, где заканчивается гарантия ужина. Когда вы заработаете свой первый медяк собственным унижением или трудом, вы поймете вес металла. Вы станете опасной, Дарья. Опасной для таких, как ваш отец. Потому что человек, познавший вкус настоящего хлеба и настоящей грязи, никогда добровольно не вернется в золотую клетку, даже если ему предложат стать ее хозяйкой.

Дарья взяла яблоко. Оно было ледяным. Она посмотрела на Эли. На его бесстрастное лицо, на простую ткань одежды, которая скрывала, возможно, убийцу, философа или сумасшедшего. — А если я откажусь идти дальше? — спросила она. — Если я сейчас уйду, наймусь судомойкой к Марфе и проживу так остаток дней? Это тоже будет актом свободной воли?

Элей медленно качнул головой. Уголки его губ дрогнули в

подобии улыбки. — Нет. Это будет трусость. Акт свободной воли — это движение вперед вопреки инстинкту самосохранения. Вы можете остаться. Вас ждет теплый угол, объедки с господского стола и медленное старение в вонь. Завтра придет полицейский писарь, узнает в вас сбежавшую дочь графа Воронцова, и вас вернут домой, в вашу клетку. Замок шелкнет, и вы будете счастливы. Безопасность — самый сильный наркотик, Дарья Сергеевна. Сильнее опиума.

Он развернулся, собираясь уйти в темноту ночи, обратно к тракту, где были волки и замерзали дезертиры. — Куда вы? — окликнула его Дарья. — У меня есть другие клетки, которые нужно чистить, — бросил он через плечо. — Нижний Новгород — красивый город. Особенно осенью. Постарайтесь дожить до него. И помните: соленый пот очищает душу лучше святой воды. Доброй ночи, падшая графиня.

Его шаги стихли в скрипе снега. Дарья осталась стоять в сенях, сжимая в одной руке ледяное яблоко, а в другой — синий конверт с верблюдом.

Она подошла к двери, ведущей в общий зал. Приоткрыла ее на дюйм. Теплый дух человеческого жилья ударил в лицо. Она смотрела на спины ямщиков, на тусклый свет керосиновых ламп, на пар, поднимающийся от мисок. Там, в этом зале, не было никого, кто знал фамилию Воронцов. Никого, кому было дело до экзистенциальных кризисов. Там были люди, решающие проблему выживания до следующего понедельника.

Дарья откусила яблоко. Кислота обожгла десны, вызвав мгновенное слюноотделение. Это был вкус реальности. Горький, холодный, настоящий.

Она закрыла дверь в зал. Прошла в самый темный угол сеней, подальше от света луны, падавшего в окно. Достала из волос шпильку. Ту самую, единственную, оставшуюся от ее прежней прически. Расковыряла ею шов подкладки своего дешевого пальто. Неловкими, исколотыми пальцами она спрятала синий конверт глубоко в недра ткани, зашив отверстие суровыми нитками, которые нашла на полке Марфы.

Закончив, она прижала ладонь к груди. Письмо пульсировало там, словно второе сердце. Опасное, незаконное, живое. Завтра на рассвете она выйдет на тракт. Она пойдет пешком. Она будет мерзнуть, бояться каждого куста и считать каждую версту до Нижнего Новгорода. Она будет свободна настолько, насколько вообще может быть свободен человек в шинели на ветру.

Золотая клетка ее детства окончательно превратилась в миф. Впереди была только пыль российских дорог, тяжесть собственного тела и бесконечное небо над головой, которое не требовало отчета о происхождении. Дарья прислонилась спиной к холодной стене сеновала, подтянула колени к груди, спасая остатки тепла, и впервые за долгие годы провалилась в сон без сновидений, крепко сжимая в кармане серебряный рубль, добытый чужим потом.

Глава 4. Меч и честь

Пыль Нижнего Новгорода пахла иначе, чем пыль придорожных трактов. Если дорожная пыль была мертвой смесью глины и конского навоза, то городская — это был перемолотый временем камень, древесный уголь из кузниц, запах сырой рыбы с Волги и сладковатый дух ладана из многочисленных церквей. Дарья стояла на гребне высокого откоса, глядя вниз, на слияние Оки и великой русской реки. Город раскинулся перед ней амфитеатром: белокаменный Кремль на вершине горы, а под ним — лабиринт деревянных предместий, торговых рядов и дымящих мануфактур.

Задание Саввы Митрича было выполнено. Синий конверт перекочевал в руки хмурого человека в темном армяке у паромной переправы. Пятьдесят рублей ассигнациями теперь грели внутренний карман ее платья вместе с остатком монет. Она могла бы сесть на пароход до Астрахани или вернуться обратно в Петербург, купить билет в вагон первого класса и попытаться вымолить прощение отца.

Но она осталась. Элей не появлялся уже две недели, но его голос звучал в голове каждый раз, когда ветер бил в лицо: *«Свободная воля начинается там, где заканчивается гарантия ужина»*. В Нижнем Новгороде гарантии закончились снова. Деньги таяли быстрее снега в апреле. Нужно было искать кров и пищу.

Случай привел ее на Торговую площадь, которая гудела, как растревоженный улей. Но сегодня гул был особенным — праздничным, звенящим металлом. Князь-город принимал гостей. Из самого Владимира прибыли дружинники, из далеких южных степей приехали кочевники-наемники, а со стороны западных границ добрались рыцари Ливонского ордена по случаю заключения торгового союза.

Город праздновал Турнир Чести.

Арена была устроена прямо на льду замерзшей Оки, огороженная высокими щитами из свежеструганых досок, чтобы брызги крови и осколки копий не летели в толпу зевак. Вход стоил медяк, которого у Дарьи не было. Однако стража, охранявшая ворота для знати — те самые, что вели к крытым трибунам с бархатными навесами, — смотрела больше на чистоту одежды, чем на кошель.

Дарья нашла в груди выброшенного тряпья у портомойни относительно чистый обрывок темно-синего шелка. Намочив его в проруби и содрав кожу песком, она оттерла грязь с лица и рук. Свою простую одежду служанки она сменила на единственное приличное платье, которое берегла в узелке — серое, шерстяное, без модного турнюра, но сшитое добротно. Заплетя волосы в тугую косу и надвинув на глаза капюшон старого плаща, она перестала выглядеть бродяжкой. Теперь она сошла за бедную родственницу какого-нибудь мелкого чиновника.

Этого хватило, чтобы проскользнуть через боковую ка-

литку, предназначенную для распорядителей и слуг.

Внутри царило ослепительное великолепие Средневековья, пропущенное через призму имперской роскоши девятнадцатого века. Лед сверкал так, что резало глаза. Деревянные трибуны были устланы коврами. На почетных местах сидели епископы в парче, губернаторы в лентах и дамы в собольих палантинах. Воздух дрожал от мороза и запаха горячего воска факелов.

На лед выехал первый герой дня. Граф Северский. Человек-легенда, о котором пели гусли в кабаках. Его вороненый доспех немецкой работы казался монолитным куском ночи, поглощающим свет. Забрало шлема было выковано в виде оскаленной пасти демона. Конь под ним — черный гигант-тяжеловоз — ступал тяжело, вбивая шипастые подковы в лед.

Толпа взревела. «Северский! Северский!» — скандировали тысячи глоток. Купцы бросали на арену монеты. Дети плакали от восторга.

Граф поднял длинное турнирное копьё, украшенное черно-фиолетовым вымпелом. Он выглядел воплощением войны. Идеальной машиной для убийства, закованной в сталь. Дарья смотрела на него, чувствуя, как благоговение смешивается с нарастающей тревогой. За этим блеском металла, за идеальной геометрией линий скрывалось нечто пугающее.

Трубы пропели сигнал. Противник графа — молодой барон из смоленских земель — сорвался с места. Копыта его

белого скакуна скользили по накатанному льду. Расстояние сокращалось стремительно. Двадцать сажений. Десять. Пять...

Удар.

Звук треснувшего дерева, помноженный на эхо металлической полости арены, ударил по барабанным перепонкам. Древко копья барона разлетелось в щепу. Самого всадника буквально смело. Упряжь лопнула, седло перевернулось, и тело в белых латах покатилося по льду, оставляя за собой кровавый след из разбитого носа. Белый конь, обезумев от боли (осколок копья распорол ему брюхо), метался по арене, волоча за собой внутренности.

Трибуны ликовали. Дамы махали платками. Епископ перекрестился, благословляя победу истинной веры над еретиком.

Дарья не могла дышать. Она видела смерть. Не тихую, благообразную смерть старика в постели, окруженного свечами, а грязную, хрустящую, воняющую кровью и испражнениями смерть посреди всеобщего веселья. Пока слуги крючьями увлакивали искалеченную лошадь за пределы ристалища, пока медики перевязывали стонущего барона, граф Северский снял шлем.

Лицо героя оказалось бледным, одутловатым. По вискам градом катился пот, мгновенно замерзающий сосульками в бороде. Губы тряслись. Он сделал большой глоток вина из протянутой чаши, расплескав половину на нагрудник, и его

рука — та самая рука, что только что держала смертоносное копьё, — ходила ходуном, как у паралитика.

Он не смотрел на ликующую толпу. Его маленькие, глубоко посаженные глазки бегали по сторонам, словно ища лазейку в ограде, чтобы сбежать. Это был не триумфатор. Это был человек, который только что чудом избежал собственной гибели, ведь если бы барон попал чуть выше щелью забрала, сейчас этот кубок вина пил бы ворон.

— Они все боятся, — раздался рядом тихий женский голос.

Дарья обернулась. Рядом стояла дама в трауре. Черный креп подчеркивал мертвенную бледность ее кожи. Лет тридцати, красивая той строгой, увядающей красотой, которая бывает у женщин, рано познавших горе. — Простите? — переспросила Дарья. — Герои, — кивнула незнакомка на арену, где оруженосцы уже помогали графу Северскому выбраться из панциря. — Вы думаете, они любят убивать? Или рисковать? Жить хочет даже самый последний дурак. Просто страх смерти у них давно перешел границу здравого смысла. Они боятся бесчестия больше, чем клинка. А бесчестие для них — это показать свой страх вам. Зрителям.

Женщина представилась как княгиня Елена Баратынская. Вдова генерала, погибшего при подавлении польского мятежа. Она пришла сюда не ради зрелища. Ее покойный муж начинал карьеру именно на таких турнирах, молодым поручиком, мечтающим о славе. Теперь она приходила смотреть

на мальчиков, которые повторяют его путь, чтобы убедиться, что никто из них не стоит того ада, через который прошел ее супруг.

— Посмотрите на него, — княгиня указала веером на нового участника, въезжающего на лед.

Это был совсем юный рыцарь. Его латы сияли первозданной полировкой — видимо, он мог позволить себе оруженосца, который чистил их всю ночь. Герб на его щите — золотой лев на алом поле — говорил о древнем роде. Шлем украшал пышный плюмаж из перьев белой цапли. Юноша сидел в седле неловко, слишком прямо, пытаясь компенсировать недостаток опыта показной статью. Ему было не больше двадцати.

— Барон Алексей де Витте, — прошептала княгиня Елена. — Третий сын. Земли нет, денег нет. Только имя и эта железная скорлупа, купленная в долг. Если он проиграет сегодня, его заберут кредиторы. Станет наемником где-нибудь в Персии или сгинет в кабаке. Поэтому он должен победить. И знаете, что самое страшное? — Что? — зачарованно спросила Дарья. — То, что если он победит, завтра ему придется надеть эти же латы и идти воевать настоящую войну. Где нет правил, судей и прекрасных дам, бросающих цветы. Там есть только голод и кишки на штыках. Этот мальчик еще не знает, что меч — это не символ чести. Это просто очень дорогой способ вскрыть человеку живот.

Объявили поединок. Де Витте против опытного ветера-

на-сарацина, кривонногого и жилистого, чьи доспехи тускло мерцали восточной бронзой. Сарацин не гарцевал. Он просто ждал, опустив копье, экономя силы лошади.

Труба. Сшибка.

Де Витте ударил верно, вложив в порыв весь свой юношеский пыл. Но сарацин лишь слегка отклонил щит. Копье скользнуло по касательной. Ответный удар восточного воина был коротким, экономным и чудовищно сильным. Наконец-ник пробил тонкую сталь горжета юноши. Хруст ломаемой ключицы слышали даже на верхних ярусах.

Юноша выпал из седла, как мешок с мукой. Он не кричал. Он лежал на синеватом льду, разбросав руки, а вокруг его головы начало быстро расти черное пятно. Кровь впитывалась в доски настила, проложенного поверх льда.

Княгиня Елена отвернулась, прижимая перчатку к губам. — Каждый раз одно и то же, — сказала она глухо. — Красивый взлет и мерзкое падение. Пойдемте отсюда, милая. Здесь пахнет смертью сильнее, чем в анатомическом театре.

Они покинули ложу незамеченными. Толпа ревела, обсуждая красоту удара сарацина. Для зрителей это был спорт. Для тех, кто лежал на льду — конец жизни.

Вечер застал их в небольшой кофейне на Рождественской улице, куда пускали порядочных женщин без сопровождения мужчин. Тепло помещения после ледяного ветра показалось раем. От чашек с мокко поднимался густой аромат

корицы.

Дарья молчала, помешивая серебряной ложечкой остывающий напиток. Руки все еще мелко дрожали. Вид настоящей, некрасивой смерти никак не отпускал ее. Она вспомнила слова Эли о том, что люди дна смеются над болью. Эти люди на льду не смеялись. Они продавали свою боль за аплодисменты. — Почему вы заговорили со мной? — спросила Дарья, нарушив тишину. — Я вас не знаю. — Потому что у вас взгляд утопленницы, которая вдруг научилась плавать, — ответила княгиня Елена, снимая шляпку. Темные волосы женщины оказались коротко острижены почти «под мальчика», что считалось верхом неприличия. — Вы смотрите на этих рыцарей не снизу вверх, как остальные курицы в шелках. Вы препарируете их взглядом. Кто вы на самом деле? Беглая гувернантка? Несчастливая жена? — Никто, — честно ответила Дарья. Слово давалось легко. Оно больше не обжигало горло. — Я пытаюсь понять, где кончается маска и начинается человек. Сегодня я увидела, что внутри железной банки сидит напуганный ребенок. — Именно, — кивнула Елена. — Мой муж... Дмитрий... Он носил кирасу даже дома первое время. Говорил, что привычка спать в броне спасает от убийц. Он никогда не рассказывал мне, что видит во сне. Лишь однажды, пьяный, сказал: «Лена, мой меч тяжелее меня самого. Иногда мне кажется, что это он ведет меня, а не я его». Через неделю турецкая пуля снесла ему половину черепа. Меч остался стоять у стены. Чистый, сма-

занный маслом. Абсолютно бесполезный.

Дверь кофейни открылась, впуская облако морозного пара. На пороге возник силуэт. Высокий, широкоплечий. Спустя мгновение в зал вошел тот самый юноша — Барон Алексей де Витте.

Его правая рука висела на перевязи, лицо было землисто-серым, но парадный камзол сидел безупречно. Вместо левой перчатки руку покрывала повязка, пропитанная свежей кровью, проступавшей багровыми пятнами. Он подошел к стойке, бросил хозяину золотую монету и потребовал водки.

Княгиня Елена напряглась. — Наглость этого рода не знает границ, — процедила она. — Явиться в общественное место в таком виде. Позор семьи. — Ему больно, — тихо сказала Дарья. — Ему стыдно, — поправила княгиня. — Боль можно скрыть водкой. Стыд за собственную слабость перед товарищами — нельзя. Пойдемте, нам здесь делать нечего.

Но Дарья уже поднялась. Ноги сами понесли ее к стойке. Она встала рядом с бароном. Тот мельком взглянул на нее мутными глазами, ожидая увидеть кокетку, желающую познакомиться с титулованным героем, пусть и раненым. Но увидев спокойное, сочувственное женское лицо без тени флирта, он растерялся. — Вам нужно к цирюльнику, — сказала Дарья, кивнув на его руку. — Кофеиновая мазь остановит жар. Спрашивайте у аптекарей на Покровке. — Благодарю, сударыня, — буркнул Алексей. Он попытался покло-

ниться, пошатнулся и едва не упал. — Прошу прощения. День выдался... насыщенным. — Я видела ваш бой, — продолжила Дарья, игнорируя неодобрительный взгляд Елены, подошедшей сзади. — Вы сражались достойно. — Я проиграл, — горько усмехнулся Алексей, опрокидывая стопку водки. Он даже не поморщился. — Лев оказался недостаточно зол. Или золото моего герба недостаточно тяжелым, чтобы придавить сарацина к земле. Знаете, что самое обидное? Я почувствовал облегчение, когда клинок вошел в плечо. Словно груз упал. — Какой груз? Барон посмотрел на нее долго, изучающе. Затем позвал хозяина и заказал кофе для Дарьи. — Груз имени, — наконец произнес он, когда хозяйка отошла. — Де Витте. Золотой Лев. Предки строили эту империю шпагой. Дед рубил башибузуков на Балканах. Отец умирает от позора, видя мое поражение. Вся моя жизнь — это репетиция одной фразы: «Честь имею». А я... я хочу иметь теплую постель и женщину, которая не будет спрашивать о количестве зарубок на эфесе.

Он наклонился ближе, понижая голос до сиплого шепота. Алкоголь развязывал язык вопреки правилам хорошего тона. — Когда эта пика ударила... первая мысль была не «Я умираю». Первая мысль была: «Наконец-то всё закончится». Какое право имеет называться рыцарем тот, кто мечтает быть убитым, чтобы отдохнуть? — Вы не мечтали быть убитым, — мягко возразила Дарья. — Вы мечтали снять доспехи. — Да! — воскликнул он чуть громче, чем следовало,

привлекая внимание соседнего столика. Алексей спохватился и понизил голос. — Эта броня весит четыре пуда. Попробуйте поднять мою левую рукавицу. Чувствуете тяжесть? А теперь представьте, что это чувство тяжести распространяется на вашу душу. Я не помню, когда в последний раз мылся сам. Всегда нужны слуги. Я не могу почесать нос, если забрало закрыто. Я существую только внутри этой стали. Без нее я голый. Смешной, слабый человек, который боится мышей. Меч — это протез моей души. Если его отнимут, я рассыплюсь в прах.

Княгиня Елена взяла Дарью под локоть. — Мы уходим. Сейчас же. Общаться с пьяным истериком — дурной тон. — Подождите, — Дарья мягко, но настойчиво удержала ее руку. Она смотрела на Алексея. В его глазах, покрасневших от пыли и усталости, плескалась такая бездна экзистенциального ужаса, какую она видела лишь раз — в глазах Эли. — Кем вы будете, когда война закончится? — спросила Дарья. — Когда мир подпишут, сабли повесят на стену, а ордена положат в шкапулки? Алексей заморгал. Вопрос явно поставил его в тупик. Он открыл рот, закрыл, потом беспомощно пожал здоровым плечом. — Управлять имением? — предположил он неуверенно. — Жениться... Растить сыновей, чтобы они тоже надели железо. Так положено. — Кем положено? — настаивала Дарья. — Вашим отцом? Уставом Ордена? Богом? Представьте на секунду, что никакого устава нет. Есть только вы, теплый ветер и дорога. Куда бы вы пошли?

— Я... — Алексей загнулся, его взгляд расфокусировался, словно он пытался заглянуть внутрь себя и находил там лишь пустоту, обитую красным бархатом. — Я не знаю. Правда не знаю. Наверное... я бы пошел в лес. Просто слушать птиц. Мне запрещали останавливаться и слушать птиц с пяти лет. Тренировки. Фехтование. Этикет. Священное писание. Всё для того, чтобы правильно держать угол копыя.

Он посмотрел на свои руки — одну белую и изящную, другую обмотанную грязным бинтом. — Самое страшное, сударыня, что я ненавижу кровь. Меня тошнит от запаха крови на бойне. Но я лучший фехтовальщик выпуска. Парадокс, да? Чтобы выжить в нашем мире, нужно любить то, от чего тебя выворачивает.

Елена решительно дернула Дарью. — Оставьте его. Это типичный кризис дворянской молодежи, усугубленный контузией. Завтра проспится и пойдет молиться на свои иконы.

Они вышли на улицу. Мороз усилился, звезды висели низко, колючие и яркие. Сани скрипели по укатанному снегу. — Зачем вам понадобилось лечить чужие душевные раны? — спросила княгиня, кутаясь в меховой воротник. — У вас своих мало? Вы странная. Сначала смотрели на арену глазами врача, потом утешали палача. — Он не палач, — задумчиво ответила Дарья, шагая по тротуару. Сапоги, хоть и добротные, начали пропускать воду. — Он такой же заключенный, как и все мы. Только клетка у него из дамасской стали. — Философия хороша, когда желудок полон, — отрезала

Елена. — Вас проводить? Судя по вашему платью, ночлег у вас не снят. — Нет, благодарю. Мне недалеко.

Дарья действительно знала, куда идти. Часть заработанных денег она потратила на крошечную комнатку под самой крышей доходного дома на окраине города. Комната пахла мышами и печным дымом, но в ней было окно.

Она поднялась по крутой винтовой лестнице, зажигая огарок свечи. Тусклый свет выхватил из темноты узкую кровать, похожую на полку в гробу, и деревянный табурет.

Дарья села на край кровати, сняла промокшие сапоги. Ступни горели. Она посмотрела на свои ладони. Мозоли, заработанные в котельной таверны, затвердели, превратившись в подобие второй кожи. Между ними и идеальными руками графини Воронцовой не осталось ничего общего. Те руки умели только играть на клавесине и принимать подарки. Эти — считать деньги в грязи и сжимать кулаки от бессилия.

Разговор с Алексеем де Витте засел в мозгу занозой. *«Меч — это протез моей души»*. Разве не то же самое говорили о титулах в Петербурге? Разве бриллианты матери не были таким же протезом, прикрывающим внутреннюю пустоту? Разве сама должность Сергея Андреевича в Департаменте не была стальной броней, защищающей его от признания, что он ненавидит цифры и скучает по жене?

Все они носили доспехи. Одни — из булатной стали, другие — из золота и государственных бумаг. И все одинаково

боялись остаться без них. Рыцарь боялся стать бухгалтером. Аристократ боялся стать никем. Крестьянин, как она поняла в деревне, единственный не имел доспеха — поэтому он и цеплялся за общину, за артель, становясь частью коллективной брони.

Свобода воли, о которой говорил Элей, требовала невозможного: добровольно сбросить панцирь, оставаясь под стрелами.

Внезапно в оконце под потолком послышался шорох. Крыша была старой, покрытой дранкой. Шорох повторился, затем крышка слухового окна приподнялась. Внутрь просунулась голова.

Это был Элей.

Он вошел в комнату с грацией кошки, совершенно не удивившись тому, что нашел ее здесь. Отряхнул колени от соломы. Сел на табурет, который жалобно скрипнул под его весом. Закурил свою вечную самокрутку. В тесной камере сразу стало нечем дышать от дыма.

— Романтизм нижних чинов всегда одинаков, — вместо приветствия произнес он, выпуская кольцо дыма. — Мальчик с львом на груди жаловался на тяжесть железа. Мило. Почти трогательно. — Ты слышал наш разговор? — Дарья не испугалась. Присутствие Эли постепенно перестало вызывать трепет, перейдя в стадию раздражающего постоянства. — Слышал достаточно, — кивнул Элей. — Классическая ошибка восприятия. Он думает, что его личность растворена

в мече. На самом деле его личность просто еще не сформировалась. Меч — это костыль. Проблема не в костыле, проблема в атрофии ног. — Легко тебе говорить, — Дарья обхватила колени руками, пряча в них озябшее лицо. — Ты предлагаешь мне отказаться от всего. От защиты. От имени. От правил. Но правила — это тоже доспех. Если я забуду, что нельзя красть, лгать и убивать, кем я стану? Таким же зверем, как те, кого я видела в трущобах?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.